

Александр Барсуков

## Родина

Записки эмигранта

Я не знаю имён птиц и названий деревьев, поэтому восклицания вроде: «Смотрите, вон иволга!» — настолько не моё, что ничего подобного никто от меня и не ожидает. Так же и с бескрайними просторами бывшего Союза — познания отрывочны: Поронайск на Сахалине — если начинать с востока, с восхода светила, затем что-то в Хабаровске и Спаске-Дальнем, какие-то сопки, потом вдруг Алайский базар в Ташкенте и загадочная «Старая Кашгарка», авиамоторный завод, махалли с невысокими саманными стенами, за которыми при моём немалом росте видны местные жительницы — усатые плотные узбечки в глянцевиных халатах в продольную ритмичную стрелку, с суровыми и сердитыми лицами, с тазами какой-то снеди на коленях, подрезающие туда то ли лук, то ли какую-то зелень, узбечки-подростки, все на подбор хрупкие и тоненькие, как стебельки, в шароварцах по щиколотку, выглядывающих из-под платиц, занятые своими немудрёными игрушками — палочками, щепочками, усевшиеся внутри дворика махалли на коврике в две ладони размером, а то и прямо на твёрдой, как стекло, глинистой, убитой-утрамбованной и дочиста выметенной земле, в тени тут же ветвящейся обильной лозы, всей в отливающих на солнце матовым заленоватым гроздьях ягод. Чем они поливают всё это своё сельское хозяйство? Таскают воду ведрами из колонки? Так и колонки вроде, куда ни кинь взгляд, не видно на этой истомлённой зноем бесконечной окраинной ташкентской улочке, где не слышать даже насекомых, настолько всё кругом устало от жары и пыли.

Подростки-мальчишки где-то шкодят, мужчины-узбеки либо тяжело работают, либо сидят, потев и отдуваясь, в чайхане, которая на местном пишется через «о» — «чойхона»; таксисты в Ташкенте суровы, неприветливы, загадочная табличка «илтимос суймангыз» перед носом у пассажира на деле всего лишь запрещает курить в машине — да и кому придёт в голову курить, если на улице тридцать пять в тени и не продохнуть? «Ишиклар ёблады, — сообщает приятным голосом из динамиков женщина в метро. — Двери закрываются. Кинги станция — „Ленин номли майдон“». Узбеков, видишь ли, площадь тоже — майдан. Как в оранжевой революции.

В метро вообще клёво — прохладно, пустынно. После Ленинграда как-то не верится, что такое возможно, в этом метро хочется поселиться — улечься на красивой полированной лавочке на станции и дать холодному мрамору не спеша вытянуть жар из перегретого тела.

Мне двадцать восемь, каждое утро мы с техником Иркочкой выходим на трассу на окраине города, машем КАМАЗу-попутке и за рубль через час оказываемся на заводе, в Ахангаране, где целый день что-то настраиваем и измеряем в отведённом для нас и приборов уголке цеха. Потом обедаем в заводской столовой — и снова до пяти крутим верньеры на наших учёных коробочках.

Ирка записывает показания чётким ученическим почерком. Ей девятнадцать, и никакой она не техник, а пришла к нам на работу прямо после школы. Это вообще первая её командировка. Моя помощница полненькая и богато одарена многими женскими прелестями. Но всё это мило и хорошо в прохладном Ленинграде, здесь же у Ирки постоянно пунцовое от жара лицо, приоткрытый рот, мокрые, тёмные подмышки и какое-то совсем детское от постоянного дискомфорта выражение лица. Средняя Азия летом — явно не для неё.

Она оживает, только когда мы в полседьмого вновь выбираемся на трассу, направляясь в Ташкент. Здесь ветерок. В КАМАЗе Ирка быстро подсыхает и принимается незаметно почёсываться от солёного пота, и так до самого душа в гостинице — точнее, до комнатки в общежитии какого-то техникума, куда нас устроили задёшево наши ташкентские смежники.

Вечером мы блаженствуем на балкончике, едим огромные сладчайшие дыни и виноград-мускат, затем немножко, как бы нехотя, грешим — и к полуночи расходимся по своим каморкам, чтобы назавтра продолжить нашу не слишком тяжёлую, но скучноватую и муторную работу. В выходной, в воскресенье, я вожу Ирину посмотреть город, кормлю её разными местными вкусностями: лагманом, пловом, самсой. Моя помощница — из совсем простой семьи, из очень небогатого круга, кафе и рестораны для неё в диковину, они кажутся чем-то волшебным, сказочным.

Девичье любопытство не даёт ей вовремя остановиться, держит на улице далеко за полдень — и вот опять у Ирины пунцовое лицо, капельки пота на лбу и верхней губе, ледяные ладони: она на грани обморока от жары. Я усаживаю её на скамейку под деревом у тепловатого фонтанчика, обмахиваю лицо газетой, обтираю ей смоченным в фонтане платком все доступные для этого места. — Извини... — стесняясь, жалобно шепчет мне наша техник, постепенно приходя в себя.

Над головами тихонько потрескивает своими стручками акация — или, возможно, чинара... мне это, как всегда, безразлично.

Толмачёво, новосибирский аэропорт. Минус двадцать, пронизывающий ветер, кругом снежные заносы, обледеневшая, вся в увесистых сосульках, остановка автобуса. В Академгородке, в гостинице, — ресторан с кичливым названием «Золотой олень», доступного вида девицы-красавицы у стойки бара, моложавые учёные, стаскивающие с себя в гардеробе «фирменные» дублёнки, вывезенные из заграничных командировок, и мохнатые шапки из пушного зверя, сработанные местными умельцами, — дичь для девиц у стойки... не шапки, конечно, а сами учёные, желанный объект, благо-расположение которого может позволить разом «устроить жизнь».

У меня целая папка допусков и справок из «Большого дома» — в Институт теплофизики меня пускают без проволочек. Затея подключить плазму к нашим скорбным промышленным недостаточностям принадлежит не мне — моего шефа, Василия Васильевича, все запросто зовут на работе Васей, он лыс, рыж, веснушчат и кипит идеями. Партия велит развивать эффективность, а что может быть эффективнее для производства, чем плазма? Ионизированный газ всё-таки, тридцать пять тысяч градусов...

Встреч с разработчиками приходится порой ждать до полудня: все они заняты делом, а не фантазиями. Я часами скучаю, сидя с бумажками и инструкциями за отведённым мне на время командировки столом в углу полупустой рабочей комнаты; молодые учёные хмурят брови, склонившись над расчётами, звонят по телефону, разговаривая о непонятном, входят, выходят — и только я продолжаю сидеть как вкопанный, лениво перебирая бумаги с грифом «для служебного пользования» или просматривая список абонентов местной телефонной сети на предмет поиска забавных имён и фамилий. Записные книжки литератора — вот как это, наверное, называется.

«Дандарон... — стоит в одной из строчек перед трёхзначным местным номером. — Гунга-Нимбу Бидьяевич».

«Как же так? — неспешно думаю я. — Как же такое возможно?»

История с плазмой внезапно кончается на Днестре, в Молдавии. Нас водят экскурсией по Дубоссарской гэс, показывают по очереди все восемь генераторов — здоровенных, уходящих под потолок зала конических машин, поблёскивающих своими боками и какими-то проволочками. Мощность станции — восемьдесят мегаватт, как раз столько, сколько требуется плазмотрону, отобранному мной в Новосибирске для нашего заводского объекта под Питером. «Что-то тут не так...» — скривившись, думаю я.

А вот ещё эпизодики — из моих командировок по российскому Северо-Западу.

В редакции мне дали тогда задание — сделать материал о менонитах. Вовсю катила перестройка, народ интересовался... чем он теперь только не интересовался... Я даже попробовал как-то подслушать в номер свои давнишние стишки. Не взяли... А там были некоторые ничего... Вот, к примеру:

Ежу — погожу, а тебе —  
Ну что ж, расскажу,  
Как живала девочка...  
Ну, скажем, Матрёночка:  
Окончила техникум  
Пищевой промышленности,  
Купила туфельки  
И поясок узкий,  
Вечерами  
Отправлялась в кроватьку,  
Имела где положено...

Ну и дальше в том же духе — как она «мечтала, конечно же, быть счастливой», но подавилась сливой и умерла, не успев состариться. Стихи при этом заканчивались оптимистической формулой: «Оставшимся, кстати, — прямой интерес, поскольку счастья — в обрез...» Сочувствующие уверяли, что это апологетика Хлебникова, я же беззлобно отпирался...

...Курьер в редакции вручил мне билеты, бухгалтер — командировочные, с вечера я побрился, в полтретьего ночи вызвал по телефону такси и вскоре уже разыскивал своё место в слабо освещённом ночниками вагоне, затем улётся, почти не раздеваясь, дождался отправления, неспешно перебрал в голове заготовки текста и вскоре провалился в сон...

Проснулся поздно. В купе возились попутчики, недавно подсевшие на каком-то полустанке, — от их висящих на крюке у двери зимних пальто с добротными каракулевыми воротниками ещё внятно тянуло холодком. Я поздоровался и снова было задремал, а когда приоткрыл глаза, мужчина уже лежал на верхней полке и осторожно высказывал опасение, что спуститься с такой высоты ему больше не удастся. Женщина возражала, странно собирая слова в предложение:

— Когда ты залез, так я думаю что ты уже и слезешь...

«Шпионы...» — подумал я, помнится, со сна. Мы медленно, но верно приближались к финской погранзоне.

Третий вскоре подсевший к нам попутчик, рыжеватый пятнадцатилетний паренёк, следовал от родных осин в областной город, в физмагинтернат. Парнишка тыкал пальцем в стекло — мы как раз стояли вдвоём в вагонном коридоре и глазели в окно — и, указывая на голову изогнувшегося в повороте состава, вещал бойким поставленным голосом:

— Тепловоз толкает перед собой воздушную подушку, а следом за ним образуется разрежение... Поэтому людям с бронхитом и астмой не следует брать билеты в первый вагон.

Я не нашёлся что возразить. Поезд мягко отступивал рельсовые стыки. Они попадались редко — путь на этом участке был, как это тогда называлось, бархатный. Вроде бы не новинка, но если долго вслушиваться, ожидая стыка, возникает состояние какой-то недобуженности, а с закрытыми глазами — полная иллюзия известных сновидений, когда нужно убежать или догнать, а ноги едва двигаются с места; всё это, я полагаю, из-за акустического стереотипа, рождённого глухотными поездками на разболтанных электричках по «небархатным» рельсам.

...Солнце перевалило зенит. В небе вовсю носились мелкие птички, из лесосек выползали подёрнутые инеем бульдозеры, попыхивая синими дымками труб.

Из коридора тянуло особым железнодорожным дымком — проводник растапливал титан под обеденный чай.

Вообще я по утрам ничего не ем, но в поезде происходит странные вещи... хотя это явление веснушчатый парнишка мне тоже объяснил. Лежащий на полке человек, сообщил он, подвергается в поезде воздействию совершенно необычных для организма ускорений, и желудочный сок омывает те отделы желудка, которые в привычной жизни нормального гражданина недосыгаемы. От неожиданности у человека возникает чудовищный аппетит. Сходные явления бывают у акробатов и космонавтов.

Уяснив себе ситуацию с нестандартными ускорениями, я притащил из ресторана пять бутылок пива и кучу разнообразной снеди. От хорошей порции пива ощущение недобуженности постепенно возникло снова. Даже ландшафт за окном, кажется, побежал медленнее.

Ландшафт, кстати, сильно изменился. Всё свободное от деревьев пространство занимали теперь одноэтажные серые строения с редкими оконцами. Они вплотную подступали к дороге и уходили вдаль нестройными рядами.

Замелькали станционные постройки, и поезд остановился. Я перегнулся поудобнее и прижал лоб к стеклу...

Вдоль путей шагал мужичишка в ватнике. Увидев меня в окне, он задрал голову, показав щетинистый кадык, и что-то проговорил. Я дёрнул вниз оконную раму. Она шла туго, но всё-таки подавалась. Мужичок терпеливо ждал. Наконец я справился с рамой и, высунувшись, спросил дружелюбно:

— Чего тебе, папаша?

— Што шмотришь? Слазь! — шепелявя, сурово ответил мужик, помотал головой на тонкой жилистой шее и, внезапно отвернувшись, торопливо зашагал прочь.

И сейчас же по коридору загрохотали шаги. — Шевелись! Шевелись! — кричали какие-то люди и колотили в двери купе.

— Шевелись! — забарабанили в нашу дверь.

Я скользнул в штаны, соскочил с полки и открыл дверь. В конце коридора рысцой двигалась группа мужчин, колотящих кулаками в двери.

— Что случилось? — крикнул я.

— Шевелись! Шабаш! — откликнулся один из них и хмуро погрозил мне кулаком.

Остальные добрались до последнего купе и двинулись в тамбур. Тогда то тут, то там возникали постперестроечные инциденты... Мы въезжали в погранзону.

...А ещё через час я попрощался с соседями и вышел на мелкой, незначительной станции.

На самой окраине этого городка, затерявшегося среди унылых по зимнему времени полей и безлистных перелесков, приютился ветхий домишко, вросший тылом в полуразрушенную, проросшую вьюном стену старого пакагуза. Автобус приходит сюда, на конечную остановку, лишь раз в два часа, а по выходным и вовсе раз в день.

Суббота. Голубеет небо, на окрестных, здесь и там слегка припорошённых снегом полях заметен первый лёгкий оттенок зелени — это сквозь мёрзлую ещё землю пробивают себе дорогу к солнцу всходы озимых.

Подъезжает и останавливается автобус. Не торопясь, степенно, с просветлёнными лицами, из него друг за другом выбираются два-три десятка пассажиров. Так же степенно направляются они к скромному домику у пакагуза. Женщины стройны и одеты с пуританской строгостью, мужчины подтянуты, широкоплечи, почти в каждом чувствуется недожинная сила воителя, привычного к тревогам и лишениям нашей беспокойной жизни.

Я присоединяюсь к ним возле дверей домика. «Здравствуйте! — говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь. — Я журналист, вам обо мне звонили. Вы позволите мне присутствовать на службе?»

Отвечом мне—открытые, заинтересованные, улыбающиеся лица. Пожилой, убелённый сединами прихожанин, статью и одеждой напоминающий бывалого моряка, радушно растворяет двери домика, пропуская меня вперёд.

Я представляюсь «хозяину» дома, средних лет человеку с открытым, полным любви взглядом, облачённому в длинные просторные одежды. «...?—переспрашивает он, бегло взглянув в моё удостоверение.—Как же, как же... читал ваши заметки. Многие очень верно ухвачено... Проходите, устраивайтесь».

Наскоро записав начало очерка, предназначавшегося для клерикального журнальчика, я действительно прошёл в молитвенный зал и сорок минут проповеди вертел головой и предавался размышлениям.

Местные женщины сложены своеобразно. Темноволосные примеси в крови сказываются у них только в форме и выражении лица. Встречаются очень изящные, точёные личики. Вероятно, и кожа до преклонного возраста остаётся довольно гладкой и упругой, выпирающее «здоровье» только разглаживает её. Я думаю, это оттого, что здесь полно и картошки, и яблок, Инь и Ян, как это по-модному называет наш завред, матёрый публицист Ларка Володимерова. На стыке полярных начал и возникает своеобразный генотип...

Наконец я прощаюсь с паствой и отправляюсь шарить по местным магазинчикам: на периферии порой удаётся ухватить немыслимый дефицит—книги, автомобильную краску редких цветов, какие-то копчушки... Завтра мне предстоит на целую неделю отправиться в район и таскаться по нему, собирая фольклор,—это уже для другой организации...

Летом—а у меня, как у факультетского ассистента, отпуск два месяца—благодаря знакомым мне удалось получить заказ на работу в Комарово, сразу на нескольких дачах известных в Ленинграде личностей—можно сказать, знаменитостей. Я наклеивал по периметру оконных рам серебристую фольгу, прокладывал провода, устанавливал и подключал коробочки сигнализации—в общем, оборудовал недвижимость по последнему слову тогдашней техники, в то же время косвенно понижая уровень комаровской преступности, а именно ту его часть, которая касалась краж со взломом,—явления, увы, в тех краях нередкого. Этот социальный аспект моей деятельности приятен грезл душу, и с каждой поставленной под сигнализацию оконницей таяло тоскливое беспокойство по поводу оставшейся в Питере на лето Саши. Ну что ж—Саша и Саша... Существо по-своему редкостное, но... Будем искать. Не одна же она такая...

Дело с сигнализацией было выгодным и спокойным. Владельцы одной из дач уехали к морю,

я жил в их хоромах и отлучался в Ленинград лишь изредка, уже к концу второй недели заметив, что ощущаю раздражение от необходимости хлопотать и двигаться. Бытие определяет сознание, это научный факт. И моё бытие постепенно превращало меня в сытого, неспешного и готового к приключениям дачника: работа отнимала не более шести-семи часов в день, в остальном я был предоставлен самому себе...

Сперва появилась Гюльнара, ввиду миниатюрности вскоре редуцированная до Гульки, причём безо всякого ущерба для теплоты отношений. Девица училась в провинциальном театральном училище «на артистку» и приходилась дальней родственницей кому-то из комаровских.

Покрыв дефицит в аспекте плотском, я тут же принялся озираться в поисках ценностей духовных.

С этим, однако, долгое время не клеилось. Меститые петербургские дамы, музы и вдохновительницы молодых дарований, верные (или неверные) подруги петербургских мэтров—в Комарово совершенно расхлюстывались, переставали поддевать лифчики и выгуливали свои анабасисы от дачи к пляжу и с пляжа в магазин в немыслимо отбывающих пёстрых заграничных лосянках и таких же заграничных футболках-безрукавках. Рубенсовские формы в такт ходьбе колыхались... в общем, после случайного разговора в очереди у сельпо с Модестом Аполлоновичем и ещё пары таких же случайных встреч с ним на комаровских «пяточках» я решил прекратить поиски духовного. Мой отпуск полностью упорядочился: несколько часов работы рано утром, так чтобы часам к десяти оклеить фольгой и подключить к охране очередные окно или дверь. Затем пляж, потом обед—и следом за ним потная сиеста с Гулькой. Отправив домой мою пассиву и часок отдохнув, я подключаю ещё одно окно и затем отправляюсь к Аполлонычу. Вечером в выходные приходилось порой уступать Гулькиной потребности подвигаться на людях—мы шли на танцы в Дом писателей, я откровенно скучал, а Гулька радостно впитывала дань внимания и восторгов со стороны мужского писательского бомонда.

У Модеста Аполлоновича страшно интересная судьба. Он начинал ещё с Лениным: я сам видел фото, на котором подросток в фуражке ремесленного училища Модест с выпученными от важности глазами стоит на краю шеренги советских работников, снявшихся вместе с Ильичём. Вождь—степенный, в жилетке и при галстукке; и это не какой-нибудь субботник на московском или петербургском заводишке, где он решил поиграть в пиар,—на снимке кадровые партийцы, управленческий персонал, единомышленники и сподвижники.

Аполлоныч—наверняка гэбэшник. Не то чтобы он об этом как-то намекнул или обмолвился, но уж

слишком много он знает — и это не серьёзное, плебейское знание типа «белые плохие, красные хорошие», нет, это знание человека, над массой вознесённого и стоящего от неё как бы слегка в стороне. Знание наблюдателя, шпиона.

Модест Аполлонович начинал в Наркомате удовольствия и, по сути, готовил там под руководством Амалии Лазаревны Селивёрстовой почву для будущих мичуринских опытов. До сих пор он охотно цитирует приписываемый (и, кстати, ошибочно) Мичурину слоган: «Мы не можем ждать милости от природы».

— Это как вы, Алик, с вашей Гулей... — замечает он. — Взят и... трахнул, как теперь это называется. Часы идут; нет времени дожидаться, пока груша созреет.

— Она совершеннолетняя, Модест Аполлонович... — возражаю я.

— Жизнь прожить... — раздумчиво шуруется мой собеседник, — это вам не поле перейти.

— Извините за банальность... — вставляю я.

— Вы знаете, что Луна удаляется от Земли? — без перехода замечает он. — На изрядное расстояние ежегодно. И происходит это из-за приливов и отливов. Попуту переливающаяся вода что-то оттягивает из гармоничной системы вращающихся планет. А мы ещё собираемся строить приливные электростанции... Усугубляем, так сказать...

— Вряд ли эта модель переносима на повседневность. Если, конечно, вы не намекаете на прелести прогуливающих по Комарово матрон. Как у них обстоит дело с сохранением импульса?

— А вы порой грубоваты... Нехорошо... Представьте... вы отправились с Гулей поплавать. Не здесь, в Комарово, а дома, посреди зимы, — в какой-нибудь уютный спортивный бассейн. Скажем, общества «Трудовые резервы»...

— Гуля не ленинградка, она здесь на каникулах...

— Не важно, отправьтесь под Новый год навестить её в её тьмутаракани и пойдите там в «Трудовые резервы». Представьте: пурга за окнами, шубы и шапки сданы в гардероб, а вы, полунагие, плещетесь и резвитесь в лазурных струях...

— Хлора... — снова вставляю я, как будто чёрт подталкивает меня изнутри противоречить.

— Хлор не лазурный, — степенно возражает Модест. — Хлор — хороший окислитель и очень удушлив. Порой я сержусь на вашу потребность эпатировать. Надеюсь, что это у вас лёгкая возрастная простуда... Итак, вы резвитесь в струях; ваша спутница, желая развлечь вас, делает, задержав дыхание, сложный пируэт под водой и, счастливая, выныривает на поверхность прямо перед вашим носом. Радостная, открытая улыбка, лучащиеся чувством глаза... настолько, насколько можно лучиться, будучи заливаемым потоками текущей с купальной шапочки воды. Или ваша подруга плавает, так сказать, простоволосой? Далее...

При прочистке носа в дыхательных каналах вашей спутницы отделяется от богатой сосудами венки слизистая корочка грязновато-оливкового цвета, называемая в просторечии соплём. «Соплём перешибёшь» — вы слышали, конечно, эту характеристику по адресу людей хрупких, слабых и тощих... — Кажется, мой эпатаж заразителен... Гулька не сопливая, Модест Аполлонович. Хотя я, кажется, понимаю, куда вы клоните...

— Верю, надеюсь, дорогой мой. «Амбивалентная логика материально-телесного низа», как выражался учёный Бахтин.

— При чём же здесь низ? Низ под водой...

— Я ценю ваш юмор... — Модест Аполлонович радостно всхохатывает. — «Низ под водой...» Это здорово! Даже если это получилось у вас случайно...

Если ехать в Германии в поезде местного следования и не в час пик — запросто может привидеться родина. А тут, как на грех, и остановка на месте нашего конторского пикника называлась знакомой и незатейливо: «68er km»... «68-й километр»... От Финляндского вокзала электричка тащится до него не меньше полутора часов. Входят и выходят пассажиры. Ленинградская публика, в городской одежде и со столичными выговором и манерами, постепенно сядет числом, ступёвывается, редеет или, наоборот, группируется где-то в углу вагона, независимо от исходной, при посадке на вокзале, совместимости или несовместимости, всё более вытесняемая «областными» — пьянчугами, рассчитывающими в обеденный перерыв закупить пару «фугасов» портвейна на соседней станции, усталым агрономом или землемером, сопровождаемым едва созревшей девчонкой-нарядчицей с холщовой сумкой на ремне через плечо и в замызганных резиновых сапогах, совхозным снабженцем в «немарком» костюмчике моды пятидесятых, так ни разу и не отданном в чистку, дачниками, рассчитывающими, как и пьянчуги, на большее изобилие в магазине потребсоюза на соседней станции («возможно, завезут сосиски!»), — это совсем иной, нестоличный контингент, встречающийся в транспорте, вероятно, повсеместно на некотором отдалении от крупных городов и составляющий в этнографическом смысле серединку на половинку нашего пёстрога народа — немыслимо далеко от арбатских кривляк и так же далеко от упитой и поколениями укатанной неурожаями череповецкой глубинки. О дальних палестинах, вроде Сибири, распространяться не станем — это тема особая, отдельная. Да и есть у российского Северо-Запада своя неповторимая специфика, свои ландшафты, свои каноны, свои человеческие типы. Что нам до Сибири?..

К этой публике в майско-июньское время добавляются стайки студентов с рюкзаками и неизбежными гитарами. Молодёжь отправляется

в ближний поход: взяты напрокат палатки и спальные мешки; засыпаны крупы и картошка; спички и соль тщательно обёрнуты полиэтиленовой плёнкой и перехвачены резинкой; прогуливаются лекции, семинары и лабораторки — всё это с каким-то весёлым отчаянием: сессия на носу, зачётов сдано едва ли половина — как тут не махнуть на всё рукой и не слиться хотя бы на пару деньков с ненавязчивой северной природой?

Гитарист-недоучка бренчит подходящее к случаю туристическое («Люди идут по свету, им вроде немного надо...»); студенточки зримо томятся и с трудом ворочают очами; парни, примерив ещё на вокзальной платформе антураж защитников и рыцарей, так и тащат его в поезде, нимало, кажется, им не тяготясь... а если к тому же ещё и вечереет, и небо за поездными стёклами розовеет, краснеет, а затем лиловеет (агрономы и девчонки-нарядницы к этому времени уже сидят в своих бревенчатых домишках перед мигающими серо-голубыми экранами), то обстановка делается мреющей, романтической. Особенно если на Финляндском была предусмотрительно прихвачена пара пива и вторая бутылка как раз подходит к концу, а до шестидесяти восьмого километра ехать осталось ровно четверть часа... Романтика тут легко трансформируется в умирление.

Можно снова выйти покурить в тамбур, поглазеть на мелькающие под сцепкой вагонов шпалы и снова, как впервой, поразиться одарённости народных сказителей и боянов. Вот из надписи «Двери открываются автоматически» путём простого сдарапывания лишних букв и их элементов возник очередной шедевр фольклора: «Двери отрыгаются магически». Потрясающе! Вместо «магически» может стоять «ароматически», при этом «р» изготовлена подкаблыванием «в» и несколько выпадает из строки графически... но не семантически.

Бывает, что надпись-предупреждение предваряется императивом «не прислоняться». Тут творческая задача оказывается не по зубам народной самодеятельности, и от надписи остаётся банальное и бессвязное «слон», либо она соскабливается до безвкусного «не писоть», требующего от читающего воображения и известной меры испорченности.

В конце 1954 года Модеста Аполлоновича взяли в ведомство Молотова. Вячеслав Михайлович, не досыпая ночей, перекраивал концепцию и структуру мида, а мой тогда совсем ещё молодой собеседник оказался свидетелем и соучастником больших перемен. «Композитор», — ласково отзывался он о министре, намекая на не менее, чем польский стратег, знаменитого однофамильца Скрябина. Монгольской поездки Молотова Аполлонычу удалось, однако, счастливо избежать, и вот тут, я подозреваю, произошёл его переход в «органы». Ну что ж, во все времена кому-то приходилось брать

за эту работу, бороться с тем, что мешало стране строить коммунизм. Хороша ли была затея? Тут выбирать не приходится. Ведь насаждали её не татаро-монголы, не оккупанты, не Рюриковичи какие-нибудь, а свои же — лучшие из лучших, горластейшие из горластных. И Сахарову, и Солженицыну дали бесплатно выучиться в вузе, а Сахарову так ещё и не раз помогали на учёных советах, на защитах диссертаций. Откуда он получил деньги на бомбу? Уж точно не от Рюриковичей...

Каждое формирование по интересам имеет свои «геополитические» цели. Группа ЛГБТ претендует на недорогое удобное помещение в коммунальном клубе — правда, тогда там придётся потеснить корякский фольклорный ансамбль. Места, денег, грантов, ископаемых, красивых пляжей — всего этого не так много, на каждого не хватает. Некоторые вообще столетиями живут без пляжей, купаются в проруби — как когда-то, помнится, Григорий Распутин. Люди всегда дерутся, с самого детства. За место за партой у окна, за право нести девочек портфель из школы. Выхода нет. Товара маловато, «по справедливости» его не поделить.

Как если бы геморроя и так было недостаточно, постоянно возникают какие-то новые группы. И тоже со своими интересами. Они, понятное дело, тут же заводят себе маркеры — чтобы отличать своих от чужих. Ну вроде как если ты в Евросоюзе — будь добр принимать и кормить беженцев отовсюду, откуда в Брюсселе прикажут. Или любить всей душой ЛГБТ, только что тут помянутых. Это маркер. Без него ты — чужой, неведомо откуда затесавшийся.

Я родился давно, в баснословные времена, в апреле приснопамятного 1956-го, когда начались реабилитационные и освобождения из сталинских лагерей. Моего отца, военного связиста со специализацией по радиолокации, захватившего год войны с немцами и затем несколько месяцев войны японской, по окончании боевых действий оставили служить на Сахалине. Аэродром был совсем свеженький, выстроенный в 1943 году. Неизвестно, всё ли с ним обстояло благополучно в 1946-м, когда там появился отец, известно, однако, что посёлок, в котором мне через десять лет надлежало родиться, был взорван отходящими с острова японцами, людьми, очевидно, довольно жестокими, поскольку незадолго до взрывов, а именно восемнадцатого августа 1945-го, они подчистую расстреляли в Камисикике, как он по-японски назывался, всех этнических корейцев, подозревая их в шпионаже в пользу СССР. Ничего удивительного — ни в отношении несчастных корейцев, к которым на Дальнем Востоке вообще относятся с большим предубеждением, ни в отношении лютости японцев: со времени взрывов в Хиросиме и Нагасаки на момент расстрела прошло соответственно чуть

больше и чуть меньше недели; японские офицеры, безусловно, получили об этом сводку и необходимые распоряжения.

Но вернёмся в Комарово, а то получится путаница.

Иногда набегали события, дела: кто-нибудь звонил из Ленинграда на вверенную моим заботам дачу, требовал встречи, или денег, или чего-то давно обещанного. Я собирался, тщательно запираю все окна и двери, затем находил Гульку и после горячей минутки в её объятиях отправлялся на станцию. Модесту Аполлоновичу я оставлял записку: «Уехал в Л-д. Буду завтра к вечеру».

Жена отправилась на всё лето к родственникам в деревню, в квартире царили полумрак и запустение. Да я, по сути, и не бывал в ней во время моих коротких наездов в город: прямо на Финляндском нырял в метро и целый день затем раскатывал по городу, устраивая и улаживая дела. Иногда оставался переночевать у какой-нибудь подружки, упрямо минуя Сашу, или, если было по пути, закатывался под вечер домой с парой приятелей. Мы пили «сухач», трепались о музыке и целомудренно обсуждали научные проблемы, а в полпервого приятели браво отправлялись к метро.

Надо сознаться, что Гулька изрядно меня выматывала, поэтому дополнительные супружеские измены совершались не от приапической неутомности, а скорее по инерции тела, привыкшего в Комарово изо дня в день дважды, а то и трижды освобождаться, так сказать, от бремени. Как если бы организм у меня теперь сам собой выработал антитела на воздержание. До сих пор некоторые из моих ленинградских подружек того лета поминают мне эти мои доблести в койке, относя их по девичьей наивности к тому, что я, как они полагают, «соскучился»... Нет-нет, просто Гулька растормошила мне организм.

Отлучки в Ленинград, естественно, вредили моей дачной упорядоченности. Гулька что-то подзревала и тоже теребила глагол «соскучиться», а Модест Аполлонович, пожалуй, даже ревновал: мой собеседник жил в Комарово весь год, и зимой тоже, мои отъезды, очевидно, напоминали ему, что лето преходяще и что на девять грядущих месяцев круг его светского общения будет снова до обидного сужен. Я тоже порою скучал по нему в городе, по нашей неторопливо текущей трепотне в тёплых надвигающихся сумерках со стрекотом цикад, поскрипыванием приоткрытой в соседнем доме двери и ночными бабочками, уже собиравшимися стайками у начинавших тут и там зажигаться фонарей; прочая мошкара расаживалась на ночёвку на белеющие в сумраке квадраты затянутых марлей окон.

Но раньше всех появлялись они — бич дачников в северных широтах. Кстати, комары в Комарово,

как я установил летом того, значительно более кусачие, чем в самом Ленинграде: в городе они, очевидно, слабеют от чада автомобилей и смога.

Во всяком случае, назойливый писк и отдельные хлопки ладонью по собственной щеке, шее или коленке составляли неизменный фон наших диалогов, а чesавшиеся весь следующий день укусы привели в конце концов к тому, что мы сместили время наших диспутов на послеобеденное. Это, в свою очередь, ударило по графику наших с Гулькой совокupлений, а когда она через некоторое время докопалась до причины сдвига графика, то затрепачала и сами отношения, и так вобравшие к этому моменту достаточно неразрешимых несвязностей из-за особенностей наших с Гулькой характеров.

И хорошо. Девчонке следовало заканчивать училище и становиться актрисой, чему взрослый и технически образованный дядька с ленинградским снобизмом и капризами мог скорее помешать, чем помочь. Да и о неуклонно надвигающемся возвращении из отпуска моей законной супруги тоже следовало подумать.

...Посёлок Камисикука имел японскую жандармерию, куда сначала и приволокли арестованных корейцев, — и это на острове, который мы привычно считаем давним русским владением. Растреляно-то было «всего» восемнадцать человек, что в ходе боевых действий (Советская армия как раз наступала с севера острова), конечно, порою случается. Сама Камисикука являлась тогда обычным шахтёрским посёлком, относящимся к губернаторству Карафуто. Это не весь Сахалин, а только южная его часть, начиная от пятидесятой широты и ниже, примерно половина. Земли эти по 1945 год входили в состав Японской империи, а потеряли мы их в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов и отдали японцам по Портсмутскому мирному договору, который с российской стороны подписывали С. Ю. Витте, председатель «комитета» министров, и Р. Р. Розен, гофмейстер. Вообще, как я понимаю, гофмейстеры следят при дворе за порядком и протоколом — а тут вот барон Роман Романович (отца его звали Роберт-Готлиб) отправился в город Портсмут, штат Нью-Хемпшир, отдавать японцам пол-Сахалина. Ну... видимо, такие были времена — Распутин, гемофилия наследника престола и прочее.

Портсмут, небольшой городок, расположен в устье реки Пискатака, название которой по случайности как бы перекликается с Сикукагавой — так называется речка, на которой стоит Камисикука. Отсюда мораль: построенный в 1943 году в Камисикуке аэродром вовсе не был советским — отец, как это называется, принял бывшее японское хозяйство. Чьи ему под начало достались радары, теперь уже неизвестно: радарной техникой ещё до начала вторжения в Польшу в 1939-м владели

и наши, и американцы, и японцы, и даже французы, итальянцы и голландцы.

— ...Кстати,— вдруг подхватил Аполлоныч недавно мелькнувшую у меня мысль.— Я давно хотел вас спросить... А что супруга? Раз уж вы, так сказать, как-то о ней упомянули... Нет-нет, если вам неприятно...

— А что супруга, Модест Аполлоныч? Супруга в деревне. Баба с возу... другая баба, конечно, сразу на воз. Не «навоз», а «на воз».

— Да-да, каламбур. И неважный, простите... Вы иногда бываете по-настоящему грубы. Это не цинизм, не эпатаж. Это именно грубость, если позволите.

— Здесь совесть моя чиста: я груб, если предмет разговора меня к этому вынуждает.

Комары постепенно зверели—эта «ложка дёгтя» северных широт, заставляющая мечтать об океанском муссоне, сдувающим к чёртовой матери пишущую кровососущую нечисть. Хотя на океанском берегу—свои погремушки: Хемингуэй, к примеру, пил до посинения. Отчего это, спрашивается?

— Вы думаете, у нас возможно предпринимательство?—спросил однажды Модест Аполлонович, когда закончилась случайная радиопередача о новаторах и инициаторах.

— Почему же нет? Мамонтовы и Морозовы если и перевелись, то в любой момент снова могут народиться. Если социум созреет...

— Нет-нет, я имею в виду некий специальный национальный дефект. Эту особую потребность быть хотя бы для себя на голову умнее других. Обдурить, обмишулить. Помните этого унылого мальчика в «Двенадцати стульях», который таскал вёдрами воду из одной бочки в другую? Мне кажется, в каждом нашем предприятии, в каждом начинании забито, запрограммировано это звено: мальчик с вёдрами. А когда приходит налоговая инспекция, предпринимателю становится... обидно, что ли: как же, его шутку с мальчиком не оценили. Недооценили. Ведь он так хорошо, классно всё придумал. А мальчик? Ну как же без шутки? Что мы, немцы, что ли? Русскую душу не загнать в бизнес, в рамки производства, заказов, стабильности и надёжности. Ей нужна отдушина...

— Не знаю,—ответил я, потянувшись.— Я бываю в паре домов, где есть большие деньги. Они не вполне бандиты—эти люди. Но и не счетоводы с пасаки, конечно. Там другое. На бытовом, семейном уровне... — Что же?

Аполлоныч тревожно повёл головой на комариный писк, но, не разглядев в сумерках обидчика, снова повернулся ко мне.

— Здоровенные мужики, Модест Аполлонович,— при деньгах, заметьте, и при деле—позволяют орать на себя спутницам жизни: жёнам или просто

подружкам, существам зачастую вполне средним, легко заменяемым и, так сказать, не вполне соответствующим. И физически мелким. Знаете, у офицеров бывает такая беда по службе: предупреждение о неполном служебном соответствии? — Оставим пока в стороне офицеров. Прошу вас, не влийте...

— Так что же движет этими мужчинами?— продолжал я.— О женщинах я не говорю...

— Разные вещи,— задумчиво проговорил Аполлоныч.— Разные. Во-первых, они боятся разрушить образ. Ими самими же созданный образ хрупкости и беззащитности. Во-вторых, не признают в партнёрше—особенно в мелкой, как вы выразились,— ровню, с которой можно говорить по-свойски.

— Два—ноль в вашу пользу. Мне нравится этот экспромт. И дальше?..

— В третьих, они, безусловно, опасаются признаться так в партнёрше ровню, а значит—реагировать соответственно.

— Как?

— Ударить... И ввиду большой разницы в весе убить или, хуже того, безнадежно покалечить. Кому это нужно?

Аполлоныч наотмашь врезал себя по уху. На ладони остался длинный кровавый след.

— Сволочь,—прошипел он, отирая останки насекомого о свои холщовые «садовые» штаны.

— С коммуникацией вообще не всё так просто, как кажется,—заявил я, слегка кокетничая.

— Это точно...

— Я имею в виду, что каждый мешает каждому.

— Как?

— Нас мальтузиански много. Мы загораживаем солнце друг другу, если можно так выразиться.

— Вы имеете в виду очереди?

— Нет, Модест Аполлонович. В любом людном месте, за малыми исключениями, человек думающий, скромный не может не ощущать себя помехой. Поэтому такое патологическое желание дома, собственности, крепости...

— Интересно...

— Человек мешает окружающим как бы уже самим фактом своего существования, тем, что он стоит и отсвечивает. А того хуже—говорит. Вам не знакомо это ощущение? Оно здорово передано в «Лолите»: помните, когда любовник польской жены Гумберта, кажется, Валечки, не сливает воду в сортире, чтобы грохотом слива не дать почувствовать хозяевам, как ничтожно мала их квартира? Этого, возможно, не понять человеку, повзрослевшему в трамвае, где все слабы и каждый поэтому открывает пасть... дерёт глотку...

— Ну-ну... Трамвай—не худшее изобретение человечества.

Тут Аполлоныч звучно хлопнул себя по щеке, затем по лодыжке, а также попробовал дотянуться до лопатки. Наваливалась комаровская ночь.



...В октябре сорок седьмого посёлок переименовали в Леонидово, а речку — в Леонидовку, в честь погибшего здесь Героя Советского Союза Леонида Смирных, комбата 179-го стрелкового полка, особо отличившегося в боях за «освобождение» Южного Сахалина. Смирных, только что взявшего со своими бойцами японский укрепрайон, подстрелил снайпер. Произошло это шестнадцатого августа 1945 года, за два дня до «камисикукского расстрела», и укрепрайон находился не в будущем Леонидово, где всю ещё бесчинствовала японская префектура, а у посёлка Котон, нынешнего Победино, Поронайского района. В округе сейчас тринадцать сёл и посёлок городского типа с названием Смирных. Это и есть Котон (или Кетон), где подстрелили комбата. Кетону, таким образом, досталась фамилия героя, а Камисикуке — его имя. Вот такая история...

Я родился в женский праздник, восьмого марта, — неудивительно, что гетеросексуальность надолго, если не навсегда, сделалась моим кредо: звёзды не обманешь, а если ещё и Сатурн в Козероге — то, в общем-то, всё, сливай воду, как говорилось в народе до введения в обиход антифриза. И в ретроградной фазе тут не обойтись без разборов, анализов — что, собственно, и занимает меня чуть ли не всё время досуга, лишая сна и покоя. Хочется знать правду... хотя где её, правду, найдёшь, когда всё везде зашлаковано и закислено безвозвратно?

Отец что-то мерил прибором по службе, находясь в краткосрочной командировке «на островах», как наши местные граждане называли Курилы, а мать в тот день поехала с кумушками на толкучку в городок Мисикуру в бывшем японском секторе Сахалина и там, прямо на рынке, у неё пошла схватки — японцам ничего не оставалось, как пригнать санитарный фургон и отвезти мать рожать в свой местный госпиталь, оставшийся от военных.

Отец, вернувшись, увидел меня уже вполне крепким и самостоятельным десятидневным подростком: японцы перевезли мать на четвёртый день после родов к бывшей границе и сдали под роспись нашим военным властям. Кстати, гражданское право трактует ребёнка до девяти дней от роду как существо неосмысленное, по-прежнему, как и в ходе беременности, называя его неприятным словом «плод»; на десятый же день, при встрече с отцом, я уже сменил статус, превратившись из плода в юного советского гражданина, пусть и сомнительного — в смысле места рождения — происхождения.

И отец, и мать получили по службе взбучку, но приграничная торговля у нас тогда не возбранялась, поэтому и взбучка была несильной: отцу достались несколько внеочередных дежурств у себя на станции и запись в личное дело, а матери влепили выговор с невнятной формулировкой.

Этим всё и кончилось, если не считать особиста из военной части, который, переписывая мою содержащую сплошные иероглифы японскую метрику в бланк свидетельства о рождении, на чём свет стоит ругал либеральные сахалинские порядки и обещал жаловаться «на самый верх». В целом же моему появлению на свет все были рады — детей тогда просто и бескорыстно любили.

Тяга к другому полу дала знать о себе весьма рано, а первые опыты плотского принесли нехарактерные для мальчикового возраста хлопоты: айны, коренной народ Сахалина, всё ещё в массе своей существа девственной культуры; раннее созревание девочек воспринимается у них впрямую, знаково, а таких девчонок-айно в классе у нас было пятеро. Но об этом здесь лучше умолчать, чтобы не перегружать, так сказать, ткань повествования...

Потом отца перевели служить в Ленинград, город нервный и пасмурный. Целомудрием, как известно, Питер тоже не отличается; тут мои впечатления стало просто некогда осмысливать: мальчик, как говорится у классиков, «навиделся видов». Что же до теории, то она долгое время оставалась для меня совершенно закрытой книгой: Франсуазу Дягана я прочёл уже вполне взрослым и долго недоумевал, долистав книжку до последней страницы: неужели всё у *них* действительно так? «Ты наивный, просто как дурак!» — заметила мне тогда супруга, с которой я неосмотрительно поделился впечатлениями...

...Тем временем в городе назревали перемены. Всю ходили анекдоты о перестройке, самые шустрые из цеховиков, ко всеобщему удивлению, становились легальными миллионерами и уверенно двигались в политику, блатные «общаки» вылезали на поверхность и удесятерились в считанные месяцы, на улицах запестрели атласные спортивные костюмы и обритые головы новой национальной гвардии — телохранителей и вышибал всех мастей и весовых категорий. Как грибы росли и множились школы восточных боевых искусств. Популярными и общеизвестными стали словечко «кидала» и коренной его глагол «кинуть».

Супруге в деревне было, безусловно, хорошо. Ростки новой жизни пока не набрали достаточно сил, чтобы пробиться сквозь плетни и околицы в сердцевину отечественной глубинки. Парное молоко имело соответствующий наименованию вкус, а доярки по-прежнему не задумывались о предохранении.

В середине августа я снова оказался по делам в Ленинграде и, намотавшись два полных дня по потным и липким улицам, в одиннадцатом часу вечера дотащился наконец до супружеского ложа. Наша высотка хорошо продувалась ветерком с залива: дома было почти прохладно. Я неторопливо

обошёл комнаты, проводя на ходу пальцем поверху серванта, комода и тумбочек. Пыли собралось предостаточно — к приезду супруги следовало запланировать полный день на уборку. Из трёх настенных часов (дешёвые импортные поделки: большой циферблат и слабенький механизм на тощей батарейке) двое стояли. Этот факт на удивление сильно меня растревожил: я вспомнил оставленную в Комарово Гульку, пляж в знойный полдень, вечерние танцульки по выходным — и на сердце неприятно заскребло.

А вот ещё тоже вспомнилось... Одной моей давнишней подруге было, ввиду её замужнего статуса, страшно трудно выкраивать время для наших свиданий, при том что вообще-то она отлучалась с работы часто, поскольку «заведовала информацией» у себя в отделе и поневоле регулярно бывала в библиотеках и патентном ведомстве. Ясно, что человек в библиотеке недосигаем ни для мужа, ни для начальства — по крайней мере, по телефону. Это открытие навело нас в один прекрасный день на счастливую мысль превратить бездарно улетающие библиотечные дни в праздник любви. К тому времени мы уже попробовали и гостиничные номера, и взятые у приятелей на пару часов ключи от квартир, но эти похождения оставляли явственное послевкусие брезгливости... после таких свиданий мы расходились скорее усталыми, чем довольными: какие-то бесконечные шумы и шорохи за стенкой, чужая грязь...

А идея родилась вот такая. На утренний поезд в Москву брались билеты в св. Такие же или слегка попроще приобретались на встречный поезд, выходящий из Москвы утром того же дня. И в Бологом происходила пересадка. «Это что за остановка? Бологе или Поповка?» — как писал классик. В результате — три часа сладкого единения, обед и неторопливая прогулка вокруг вокзала в Бологом и — неспешная, ласковая дорога назад. Народу везде было мало: кому охота проводить в московском поезде светлый день?.. С тех самых пор у меня дома хранился толстенный железнодорожный справочник.

Недолго полистав его, я нашёл сравнительно удобный поезд в сторону супружиной деревни. Трамваи ещё ходили. Собравшись и уложив какие-то мелочи в старый потёртый портфель, я запер квартиру на два замка и двинулся на вокзал.

Билетов в кассе на мой поезд не было, но я, прогулявшись вдоль поданного на посадку поезда, выбрал проводника поприятнее и, когда вагон тронулся, легко шагнул с перрона в дверь, выставив вперёд ладонь с прижатой к ней большим пальцем на манер пропуска купюрой. Банкнота перекочевала в карман к железнодорожнику, а я оказался в узком служебном купе, через стенку от купе

проводника. Здесь всё было завалено матрацами и одеялами, я быстро организовал себе постигине царского лежбище и с удовольствием вытянул ноги: сходить мне следовало в полчетвёртого.

На полужнакомой-полузабытой станции мне сперва пришлось помяться до первого автобуса, а затем я славно подремал в нём самом, несмотря на толчки и тряску, вызванные скверной сельской дорогой.

...Машу я увидел ещё за три дома. Нагибаясь, она обрывала с грядки в огороде огурцы и складывала их в прижатое к животу небольшое пластмассовое ведёрко без ручки. Сердце у меня ёкнуло, диафрагма сама собой подтянулась — ничто человеческое нам не чуждо: она уехала в середине мая, значит, я не видел, не чувствовал её почти два месяца. Соскучился, как свидетельствовала диафрагма. — Маша!..

Она медленно, плавно обернулась. Я сиял из-за калитки глупой и радостной физиономией. — Вы-ы? — протянула она, всё шире раскрывая глаза. — Да входите же! Что же вы стоите?!

Порывисто и мягко — босиком — она шагнула мне навстречу по выложенной старыми черепицами дорожке, а я уже открывал скрипучую калитку и втискивался в неё со своим портфелем, цепляясь за проволочные щеколды, ржавые гвозди и не видя ничего, кроме её огромных, бездонных зрачков.

— Радостно... — прошептала она тихо, повисая у меня на шее.

— Машенька...

Пахло рекой, травой, молоком. Женщиной. ...Маша — виолончелистка в одном солидном струнном квартете. Фамилия у неё диковинная и очень известная, приводит её здесь я не буду. Внутренние поверхности бёдер у Маши — то, что немцы зовут *Samt und Seide*... Это нельзя объяснить...

К слову, о немцах: Ленин — по свидетельствам биографов — выучил в тюрьме немецкий язык. Немецкий я уже знал, поэтому, попав в тюрьму в Крефельде, почти сразу принялся за дело — наведение мостов, постановку удара и прочее.

Одиночку мне дали за нервный характер. В следственной камере у меня был сосед. Как только за охранником закрылись двери, я принялся настаивать на своих привилегиях в настолько жёсткой форме, что вскоре глаза у моего противника закатились, и он мягко повалился на пол. Тут же, откуда ни возьмись, появились охранники, грубо и жестоко отлупили меня, разбив все губы и наставив синяков на рёбрах, и под руки выволокли моего сокамерника в светлый и просторный тюремный коридор.

Первую прогулку я получил лишь неделю спустя после этого случая и был приятно удивлён интересом и вниманием, которые оказывали мне прочие выпущенные во двор заключённые, — история

с моим бывшим сокамерником, безусловно, уже распространялась среди сидельцев.

— Na, russische Mafia?.. — полуспросил-полуотметил с головы до пят татуированный и изрезанный по всем возможным местам крепкий, пахнущий дорогим парфюмом субъект с длинной русой гривой, забранной сзади в хвост.

Неторопливо оглядев меня, он вразвалку ретировался к кучке таких же коренастых ублюдков, каждый из которых был, по моим вывезенным из незабвенного отечества меркам, несколько жирноват.

.. Ещё пару часов мы с Машей были заняты обычной дачной рутинной: я таскал воду из колодца, она что-то месила в кухне, старушка-хозяйка появлялась то тут, то там и безмятежно-радостно, как родному внуку, улыбалась мне беззубым ртом. После молока, ягод, реки и бурной близости в потаённой ложбинке на мягких, резко пахнущих мхах я наконец сообщил Маше, что к вечеру должен снова попасть на вокзал.

— Это не очень-то любезно... — протянула она, смешно и по-детски надувая пунцовые закусанные губы. — Вы могли бы сказать об этом раньше или... вообще не говорить. Вы, возможно, станете смеяться, но я по вам скучала.

Я сделал глупую гримасу.  
— Да-да, мой дорогой, я вспоминала некоторые наши с вами тамошние, — она повела головой в сторону, где, по её мнению, за лесами и долами лежала Северная Пальмира, — наши тамошние споры и сердилась и возражала вам. Вам действительно нужно уехать?

— Я не буду смеяться, Маша. Видите, я совсем не смеюсь...

В восемь вечера из-за дальнего, тёмного косяка леса вынырнул, приближаясь, автобус — смешной, коротенький, глупо подпрыгивающий на ухабах «пазик». Мы обнялись и коснулись друг друга губами. Да... В глаза ей лучше было не смотреть...

В автобусе я слегка вздремнул и в вагон подошедшего к перрону поезда взобрался бодро и уверенно. Попив чаю с нарезанным квадратами пирогом, который дала мне в дорогу Маша, я с усилием отогнал мысли о ней в дальний угол сознания и заставил себя лечь. Наутро мне предстояла встреча с супругой.

... Вечером следующего дня меня усаживала в поезд вся жена деревенская родня. Свой сдвигшийся портфель я уложил на дно чемодана, набитого тёплыми вещами жены, не нужными более по причине установившейся погоды, а также связками грибов и банками с вареньем. Второй чемодан содержимым напоминал первый, а довеском шла перевязанная верёвкой картонная коробка, заполненная только банками с вареньем — без грибов и тёплых вещей. Весь этот груз надлежало

отвезти в Ленинград, чтобы супруга могла приехать попозже и налегке. Благодарное дело!.. Все так и говорили: «Вот какой молодец мужчина, это надо же догадаться — приехать пораньше и забрать вещи! Какое женщине облегчение...» Они называли супругу женщиной, используя форму третьего лица и нисколько не смущаясь её присутствием, она же посматривала то поверх их голов, то — вскользь — на меня. Какое всё же чутье!.. Потрясающе...

.. Аполлоныч кинулся меня обнимать. Не знаю, возможно, я как-то незаметно для себя натерпелся в дороге, устал... Может быть, расшатал нервы — но глаза защищало, я отвернулся, а тут и Аполлоныч кстати осёкся, обмяк и сконфуженно отступил. — Да-а... — проговорил он, странно разводя руками. — У меня для вас... скажем, неприятная новость. Вы, наверное, сразу к Гуле?

— Да, надо бы... А то обид потом не оберёшься... — Не ходите. Она не обидится... Теперь уже...

Я скроил раздражённую гримасу, натянув угол рта кверху и сощурил глаз.

— Да что тут у вас происходит? Поветрие? — Почему же поветрие? Это очень локально. Гуля, судя по всему, вам больше не верна. А уж ждёт ли она вашего возвращения — это вы выясните самостоятельно. Когда осмотритесь...

— Осмотритесь?

— Да. Надеюсь, вы не помчитесь сразу же выяснять отношения с шестнадцатилетней девчонкой?

— Восемнадцатилетней, Модест Аполлонович. Я уже говорил вам: Гуля совершеннолетняя.

— Да-да, — промямлил собеседник. — Послушайте... — он снова замялся. — А не хотите ли, как это говорится, дёрнуть пивка? Я взял тут по случаю в сельпо целую авоську.

Наши взгляды встретились.

— Разыграли... — проговорил я с плохо скрытой надеждой.

— А вот и нет... — Аполлоныч больше не улыбался.

— Раздраили вы меня, Модест Аполлонович, — грустно заметил я. — Раздраили и оконфузили.

— Вот разве что оконфузил, — проговорил он и двинулся к веранде.

Обычного нашего разговора в тот вечер не получилось: мы уничтожили всю запасённую Аполлонычем авоську пива, формально и поверхностно обменялись новостями, сдобрили пиво найдённой в холодильнике полбутылкой «Столичной», после чего я отправился на танцульки и вскоре снял там какую-то несвежую гостью комаровских аборигенов, которая потом, в чаще, очень шумела, называя меня «милым» и «Серёжей».

— Если хочешь Серёжу, так и шла бы к Серёже... — наконец вяло проговорил я, поднимаясь с иглистой лесной подстилки.

Следовало подумать о сне, а также о моих окнах и фольге — поездка к жене за вареньем здорово выбила меня из графика...

По тёмным сосновым аллеям я вскоре добрёл до своей резиденции... и тут чуть не споткнулся о Гулю, мирно дремавшую у меня на ступеньках. — Ты что — дура? — с перепугу завопил я. — Чего ты одна таскаешься ночью? Хочешь, чтоб тебя изнасиловали?

— Пожалуйста... — проговорила она неприятным голосом. — Пожалуйста, не шуми.

— Ещё бы! — снова заорал я. — Кавалер услышит, в устах дождидается! Кавале-е-ер! — и я, приставив ладонь рупором ко рту, повёл головой из стороны в сторону.

— Я его отправила, — жёстко и как-то тупо проговорила моя юная пассия.

— Отправила... — передразнил я. — Будь ты постарше, я бы не тратил на тебя сейчас ни минуты. Я только что наставил тебе рога и иду спать. Вопросы есть?

— Мы переспали всего четыре раза... — она с достоинством подняла глаза, в которых тут же отразилась невысокая луна. — Давай конструктивнее...

Я поморщился.

— Тебя не было пять дней...

— Четыре раза... — я многозначительно кивнул. — И ты усаживаешься в полночь у меня на крыльце и хочешь конструктивного диалога. Сегодня что же — не вышло?

— Сегодня как раз вышло. Два раза.

— Нерегулярность тебя погубит. Ты больна! Больна головой!

— Мне можно войти?..

Что я всё-таки нахожу потрясающим у творческой интеллигенции, так это способность бороздить бытовую эмоциональную пучину наподобие ледокола. Там, где плебей хватается за топор или салатницу, задыхаясь от нехватки аргументов, вербально полноценная, пусть даже пока и восемнадцатилетняя актрисочка с лёгкостью переключает доминанту. «Вы управляете сферами», — как говорил Хармс какой-то своей подружке.

«Примирение» с Гулькой прошло без эксцессов, и вскоре она уже спала, уткнувшись носом мне в подмышку, а я пялил глаза в дачную темноту, потихоньку пытаюсь вытянуть свою руку из-под её головы, чтобы встать и покурить на крыльце. После Аполлонычева угощения страшно хотелось пить. Как же опьяняюще пахнут ночью у Гульки волосы...

...Но вернёмся к дежавю. Когда едешь часто, типажи из ближнего к городу транспорта систематизируются и упорядочиваются, а в память впечатываются штампы — куски разговоров, жесты, коротенькие сюжеты. Потом — по необходимости или, наоборот, непрошено — они выныривают из глубины сознания и дублируют, чуть опережая,

ситуацию реальному. Конечно, это не дежавю в привычном смысле — хотя бы из-за реальности и оригинала, и его дублёра в сознании, — это скорее накатанные рельсы первичного восприятия, навязчивые и повторяющиеся рефлексии, не забирающиеся, однако, чересчур глубоко в мозг и всплывающие сами собой при любом формальном повторении цепочек событий. Сложно... Неохота разбираться. Во всяком случае, когда сельская нарядчица в заляпанной обуви сходит на остановку раньше усталого агронома, я знаю, что она скажет ему при прощании. И почти никогда не ошибаюсь. А если приходится ошибиться, не расстраиваюсь и не прислушиваюсь — не хочу портить себе клише. Жить и так непросто — пусть хоть в мелочах всё идёт по-накатанному...

...Как-то — это было, наверное, в третьем классе — нас сняли с уроков и повезли на экскурсию на фабрику, «к шефам», как тогда говорили.

Мы все сгрудились в проходе между станками, внимая объяснениям взрослых. Из-за малого роста мне пришлось протиснуться за решётчатую клетку, поскольку иначе не было видно солидно поблёскивающих чугунных железок — гордости социалистической индустрии, а главное, нашей учительницы, скрывавшей под громоздким тёмным пиджаком свою невиданных размеров и, очевидно, немислимой мягкости и теплоты грудь, к которой меня непроизвольно тянуло... мечты, мечты!.. Короче: иначе всего этого мне было просто не видно.

Минутой спустя что-то звякнуло, зажужжало, и в следующее мгновение тяжёлая, заполненная железками тележка переехала мне пальцы левой стопы: большой, средний и указательный. Конечно, указательный палец на ноге — это нонсенс, но что я тогда в этом понимал?!

Я завизжал, из расплющенного ботинка толчками забила кровь. В общем, с тех пор я здорово хромаю, хотя с годами и привык к этому: то, что вся картинка прыгает перед глазами с каждым моим шагом, я замечаю теперь, только когда крепко выпью.

В период созревания хромота мешала. В то время как сверстники группами и поодиночке гоняли по школьному двору одноклассниц, мои неловкие попытки не отставать от дружков всегда оканчивались неудачей: с моей покорёженной ступнёй девчонок было просто не догнать, а подначки и дурацкие шуточки со стороны моих здоровых, набравших силу приятелей приходилось хлестать полной ложкой.

Зато я здорово натренировался швырять в цель кухонный нож или же с бешеной скоростью тыкать перочинным между пальцами прижатой к столу ладони — мы все тогда благоговели перед романтической «зоны». Однако забавы с ножиком мало помогали в подвижных играх на переменах; в них мне отводились, конечно, последние роли.

«Писатель хренов...—скептически скажет тут, тяжело вздыхая, читатель.—И всё-то, поди, врёт...»

А вот и нет! И Комарово в сюжете отнюдь не случайно. К концу августа я тогда полностью справился со своим заданием, попрощался с Модестом и, жарко расцеловавшись на станции с Гулькой, отправился домой, в Питер.

С Катечкой мы познакомились в этой самой электричке до города—и, подъезжая к «Финбану», уже болтали как давние знакомые. Её родители сентябрь планировали провести на даче, и в пустой квартире мы ещё месяц затем наслаждались жизнью в своё удовольствие.

Катечка была сильно повёрнута головой в смысле ревности, и моя хромота её очень устраивала или убаюкивала... кто, мол, на хромого позарится?.. Наверное, у неё были на меня какие-то планы: во всяком случае, вскоре она забеременела. Мы, правда, сделали аборт, но тут вдруг супруга моя как-то неожиданно подала на развод.

Нас развели быстро—уж очень много накопилось фактов о «несходстве характеров».

...Катя, кажется, снова была беременна. Мы решили пожениться. В ходе предсвадебной кутерьмы я сперва обнаружил, что невеста моя не блондинка, красит волосы,—а потом мне попалась на глаза её метрика, из которой явственно следовало, что Катя еврейка.

—Как же так, Катечка?—подъехал я к ней с вопросом.—Принадлежность к Богом избранному... и ты скрыла?..

—Дурак, поедem в Германию, наших туда впускают,—сказала она.—Представь: всё даром—сидишь себе дома и выходишь только в банк за деньгами или чтоб сдать пустые бутылки. А не хочешь, так и не сдавай...!

Нас впустили через полгода после сдачи анкет, и всё так и оказалось, по-Катякиному: нас поселили в общежитие, дали отдельную комнату, и деньги начали поступать на счёт. Соседи сказали, что на счету всегда должно быть пусто, поэтому мы сразу снимали все деньги, купали еды и водки и месяц сидели тихо, пока снова из ниоткуда не появлялись деньги.

Так прошло три месяца. Супруга изнывала от скуки в общежитии—я был даже рад, когда она стала целыми днями пропадать на курсах по изучению местного языка. Мне в курсах отказали: кто-то наступал чиновникам, что я говорю по-немецки.

Наконец-то у меня появилось время немного осмотреться, а то от скуки все эти три месяца мы тискались с Катей в койке до послеобеда. Вообще-то я не бездельник, положение сытого безработного мне тягостно.

И я стал осматриваться.

Смотреть, однако, оказалось почти не на что. Вот старикашка, ходит с палочкой по асфальтированной дорожке взад-вперёд мимо общежития.

И лет ему под сто, и висят вокруг рта жирные ефрейторские складки. Я сижу во дворе общаги за столиком и потягиваю из стакана бренди. С немецким бренди—тоже своя история: оно по-немецки—«вайнбранд», буквально—«винный пожар»,—ну что за дикость такая?! И этот «пожар» в местном сельпо называется «Шарлахберг», то есть «Скарлатиновая гора»—как в «Бриллиантовой руке», ей-богу: «Нью-Йорк—город контрастов».

Я смотрю на старикашку и его ефрейторские брылы, представляю себе скарлатину и как этот ефрейтор в Померании целился из окопа в моего деда. И попал...!

На душе тут вообще часто тревожно. Возле общежития на газоне собираются всякие асоциальные типы: бездомные, наркота, панки,—усядутся на поребрик, расставят свои банки с пивом и сидят так весь божий день, лениво переговариваются, вычёсывают друг другу дрянь из волос, гогочут... И я во дворе общежития за столиком со стаканом «скарлатины» и несложным немецким романчиком-триллером.

Как же они меня нервировали!..

Тут мы впрямую подходим к моей тюремной истории.

Не стану вдаваться в подробности, но после моих решительных действий асоциальный элемент у забора общежития сдуло как ветром. Вначале некоторые бездельники прилегли на соседнем газоне, затем наиболее крепкие поднялись на четвереньки и попытались блевать, потом приехали скорая помощь и полиция. Пара придурков показала на меня немьтлыми пальцами, полицейские вошли во двор общежития и сцепили мои запястья наручниками. Ловко!

И вот теперь у меня отдельная комната в Крефельде. Правда, тюремный доктор считает, что я невменяем, так что меня, наверное, скоро выпустят. И Катя как раз оканчивает курсы.

А вообще, я считаю, жить надо дома, среди своих. Тевтоны чужие, учиться у них нечему, живут они тускло, так что смотреть не на что: всю неделю батрачат как проклятые, встают в четыре, едут на перекладных за сотню вёрст на свой немецкий заводик и потом так же обратно—серые, измотанные, бесцветные. Зато в выходные радуются, как дети, белёсым местным колбаскам на гриле у садового домика-будки и пиву без меры—вот и вся здесь наука...!

Мне с моим немецким было, конечно, полегче, чем остальным: Германия мягко влилась в сознание, не вызывая ущерба. В лагере переселенцев на третий день, как из-под земли, вдруг обнаружили Люська с мужем, благодаря чему три недели ожидания промелькнули как один день, а в предписанном к проживанию городке разом навалились обстановка квартиры и мелкие побочные заработки. А потом к этому добавились всё же

языковые курсы и Соня... Имя русифицировано, по-местному надо говорить «Зонья».

Она была нагивная немка, происходившая из крупного по германским меркам города, известного своим охватывающим центр транспортным кольцом, наподобие Садового в Москве, а также кокаиновыми дилерами и игорными домами — eine Stadt mit Flair, то есть с «флёром». Носительница местного языка постоянно подшмыгивала излишне розовыми ноздрями, наводившими на мысль о её тайной привязанности к белым кристалликам, и настаивала космополитически на замене чисто немецкого «з» интернациональным «с» — так что получалось всё-таки снова «Соня».

— Зоньетшка... — обращался к ней я, когда хотел подразнить или позлить.

— Найн! — возмущённо выкрикивала розовоно- сая. — Кайне Зоньетшка, Соня.

— Окей, окей, — миролюбиво соглашался я и лез к немке ласкаться: крупные, налитые ляжки и демократический резиновый «боди» сверху, охватывающий крепкую упругую грудь тридцатилетней бездельницы из «неблагополучной» семьи — разведённые и давно живущие порознь отец, владелец автомастерской, и мать, получательница соцпособия. — Она звонит мне, только когда ей нужно перевезти что-нибудь тяжёлое, типа я её шофёр, — жаловалась Соня на родителей. — А отцу я вообще не нужна, у него другая семья и дети от новой бабы.

Соня служила училкой в параллельной группе на немецких курсах и хотела сэкономить на смене масла в двигателе её лохматого «Вольво». Я как раз собирался прочесть перед группой свой реферат, когда в дверь аудитории постучали и на пороге появилась она. «Партнёрства и их психологические основы» — так назывался реферат, и на перемене в курилке Соня, назвав меня «коллегой», доверительно сообщила, что уже восьмой год учится на психфаке и что дипломная работа её называется «Готовность женщины к страданию в любви и отношениях»... и что ей нужно сменить в моторе масло. На большой перемене она вызвала меня в близлежащий парк и тут же, едва обогнув первый куст, алчно впиалась мне в уста, ухватив крепкой немецкой ладонью за... называла меня «мой ковбой» — в общем, вела себя странно... Масло я, конечно, ей поменял, а потом, через полгода, побелил её новую нанятую квартиру. И это, пожалуй, всё... просто эпизод.

А через год немецкие власти в порыве непонятого великодушия предложили мне чиновничье место в своём социальном ведомстве. Теперь я с утра сидел в кабинете общаги для переселенцев на полтысячи мест, а потом полдня таскался с подопечными по немецким учреждениям. Моя трёхмесячная отсидка в Крефельде почти забылась, инстанции меня реабилитировали и даже находили

в отбытой судимости и неполной моей сменемости какой-то положительный социальный контекст. — Чем вы занимались в Казахстане? — спросил я симпатичного сорокалетнего немецкого переселенца, заглянувшего по делу ко мне в кабинет и внимательно разглядывающего меня со своего посетительского места.

«А чем ты занимался в Ленинграде?» — спрашивал его взгляд, но к тому времени я уже сделался бывалым чиновником и научился внушительной сдержанности.

Через четверть часа, однако, наш разговор выбрался далеко за официальные рамки. Мой собеседник, как выяснилось, строил электростанции и кочевал по республике вместе со своими рабочими, техникой и вагончиками-бытовками. Постепенно мы добрались до красот казахской степи, и тут я упомянул степи востока Крыма с кучно разбросанными там и сям кустарниками дикого шиповника и крупной бирюзового пера птицей, называемой местными жителями «гусар». Небольшой добротный военный городок, в часе езды на автобусе от самой Керчи. Когда-то давно я прожил там около полугода.

— ...И самолёты... — продолжил я. — «Банда Чернореза».

— Это к нам... — ответил собеседник, не задумываясь.

— Что? — не понял я.

Полк тяжёлых бомбардировщиков в шестидесятых возил из Крыма ничем внешне не примечательные заряды на полигон у Семипалатинска. Там заряды с большой высоты отпускали, а затем, как говорится, «рвали когти». Внизу возникал атомный взрыв, и специальные службы отслеживали на помещённых в бункере самописцах его параметры. Полковник Виктор Чернорез командовал этим крымским хозяйством под Керчью, и «вражьи голоса» поминали его имя к месту и не к месту. Нас вообще как-то не очень любят в этом подлунном мире...

Я вспоминаю Керчь совсем иначе. Достаточно пройти немного в гору и почувствовать характерное напряжение ступней и голеностопов, как воспоминание приходит само собой.

«Скелки» — этим этимологически невнятным словом называли каменоломни. Не керченские, исхоженные бесчисленными курортниками и перемазанные копотью свечей и факелов, с характерным запахом многолетнего человеческого присутствия, вскриками зажимаемых в темноте дамочек, нет... наши скелки находились в закрытой зоне, в черте военного городка, многие годы бывшего абсолютно засекреченным и строго охраняемым объектом. Дамочки в наших скелках не визжали.

Раз в год кто-нибудь из подростков непременно терялся в пещерах. Солдат и курсантов части поднимали по тревоге на поиски, и оживлённые

нежданном приключением «срочники», вооружённые мощными армейскими фонарями, парудней обшаривали пещеры, подкрепляемые сухим пайком и доброй армейской шуткой. Подростка находили, расходы списывали на помощь гражданскому населению, и спокойная жизнь быстро восстанавливалась. Но долго ещё и виновника происшествия, и его спасителей можно было узнать издали по характерной, «из скелок», походке: неуверенный, нащупывающий упор на пятку вынос вперёд ступни в шаге и высокий, по крутой дуге, перенос второй ступни сзади вперёд — с тем чтобы снова, нащупывая, приземлить её спереди на пятку.

Особенно нехороши были лунки. В некоторых местах своды пещер так близко подходили к поверхности земли, что в один прекрасный день пласт пропитанной дождями породы обрывался со свода, почва на поверхности проседала, а то и разом вдруг проваливалась в глубь пещеры. Возникла лунка. Новые лунки выглядели неопрятно, даже опасно. Новых лунок боялись, и по поверхности над пещерами отваживались разгуливать только самые сорвиголовы. Рассказывали сомнительные истории о провалившихся на дно сорокаметровых шахт без входов и выходов и выбравшихся затем — через пять лет — наверх по ступенькам, выцарапанным в отвесных стенах перочинным ножом. Рассказчики так увлекались, что без стеснения называли имена героев, а слушатели, в свою очередь, почти верили рассказам и уж во всяком случае не стеснялись пересказать их своим знакомым и родственникам. Героическое не обязательно инспирировано централизованно, героическое живёт и, наверное, всегда будет жить в фольклоре...

Я отряхнулся... и снова оказался в моём кабинете в общаге. Надо было идти в «зал» — в послеобеденные часы мне вменялось в обязанность помогать родителям адаптировать их малолетних детей к немецкой школе.

В дверях шурился Наум Блюм, беженец из Бердичева, шустрый семидесятилетний дядька с несходящей с лица радостной, почти детской улыбкой. — А я решил взяться за грамматику! — задорно сообщил он.

— Достоинно... — ответил я, пытаюсь пройти.

— Начал с азов! — не унимался Блюм, трогая меня за рукав. — Уселся за стол, обложился тетрадками, вставил учебную кассету, знаете... И — первая буква: «А-а-а...»

«Х... на!» — подумал я неодобрительно.

— Сидел целый день, пока не выучил весь алфавит...

Я всё кивал... Мысли были далеко. Некстати вспомнилась моя первая свадьба, свадебный пиджак — не ровного тона, как следовало бы ожидать, а светло-серый в крупную неяркую синюю клетку. Для того бракосочетания, происходившего довольно скромнано, я не стал ничего шить на заказ,

как тогда это было принято, а просто купил готовое. Пиджак попался мне на глаза в универмаге на северо-восточной окраине города, на Ржевке — это там, где второй аэропорт, что принимал тогда вертолёты областной скорой помощи и «кукурузники» Ан-2. Универмаг остроумно назвали «Ржевский». Анекдоты про поручика Ржевского вольно ходили в народе, что сообщало покупке, впрямую относящейся к браку, некую щекотливость. Сказать, что брак тот вершился на небесах или что пиджак отличало предельное качество, было бы преувеличением — ткань рыхлая, крупно переплетённая, шерсти мало; но вопрос, собственно, так и не стоял: мол, даёшь чистую шерсть.

Бракосочетание происходило душным августом, в это время дамские каблуки оставляют в асфальте глубокие и неромантические вмятиныдыры. Смотришь издали — лёгкая, грациозная и манящая походка. Летит, плывёт, волосы развеваются... Диана, да и только. Но взглядишься, сощуришься — и чувствуешь: что-то не так. Угадываются натянутость и вымученность в лице. А это просто каблуки застревают, вязнут в асфальте, и она, вся в принятом с утра стереотипе чаровницы, героически, со всей мощью национального характера сражается за цельность образа, напрягает, бедненькая, до боли, до «не могу» лодыжки и икры и рвёт, рвёт из асфальта проклятые увязające каблуки. И взглядывается, не отрываясь, тебе в глаза — с надеждой, с сомнением: «У нас ведь всё хорошо?» В носу начинает щипать от умиления и нежности, и хочется и обнять, и подхватить, и прижать... И смех тут же разбирает: ну сняла бы туфли, дурочка, и шла босиком. Лето ведь...

Тут всё иначе...

История эта началась — точнее, получила свою печальную развязку — из-за трубы-подзорки: небольшой, с ладошку размером, восьмикратной трубки, вывезенной мною вкупе с прочими милыми сердцу безделушками из России.

Саша тогда уже пошла налево. Будучи зажатой в угол моим дедуктивным методом, она во всём созналась, уверив меня, однако, что в новую связь она была втянута чуть ли не силой, или, как она выразилась, силами чар, что кавалер выказал ей свою влюблённость таким эксцентрическим способом, что ей ничего не оставалось как уступить его домогательствам. Что это был за способ — а здесь у меня был естественный дожуанский интерес, — подружка рассказывать наотрез отказалась, сославшись на суверенность интимной сферы.

— Дура! — сказал я ей веско, устав угрожать и упрашивать. — Смотри у меня!

На следующий день после разговора я заехал в большой магазин и приобрёл там в отделе фотоптики восьмикратную трубу. Теперь, когда выпадала минутка и позволяли обстоятельства,

я устраивался в одной из телефонных будок в сквере напротив Сашиной работы. Чтобы не возбуждать подозрений, я листал записную книжку, время от времени снимал трубку или изображал, что опускаю в автомат монету.

За Сашей являлся её эксцентричный кавалер. С трубой подружка мимика читалась до мельчайших деталей. А кавалер... ну что мне за дело до какого-то эксцентрика? Тем более что тогда как раз сперва навалились Комарово с Гулей, а затем Катечка с её долбаной Германией.

Заграница завертела, затуркала, поматросила, навалилась и... отползла — поскольку в новой, нанятой, а не жёковской квартире всё поневоле устроилось по-старому. Что нам заграница! За окном то же солнце, в розетке — двести двадцать, колбасы полно... И трубка-подзорка угнездилась на подоконнике в модном заграничном стакане, вместе с нерусскими карандашами и советской, со школьных времён сбережённой линейкой.

И тут я заметил рыженькую...

Девчонка была что надо: волосы светленькие, икры толстенькие, попка оттопырена. И над губою — как видно было в подзорку — любопытный пушок.

Потом я оказался с ней рядом в очереди в кассу в соседнем магазине, специально подгадав со своей закупочной тележкой констелляцию у пункта оплаты и несколько неделикатно отпихнув соперников. Волосики на губе были тоненькие, нежные, кожа так и светилась. И запах... Чем, конечно, заграница нас уела — так это гигиеной тела...

Труба теперь была без надобности — улица узкая, видно всё невооружённым глазом, да и в торговой точке регулярно встречаемся. Я уже и кивать ей при случае начал, и глазами этак делать: дескать, надо же, такие люди — и без охраны...

Она постоянно покупала пиво. И не то чтобы бутылочку, а есть тут здесь такой половинный ящик, на одиннадцать штук. Что же это? — думал я тревожно... Насосётся такая пушистая прелесть пива... Отвратительно!

И вдруг в один прекрасный день замечаю: папашка с лысиной. Выходят вместе из парадного, он её за плечики обнимает, в носик целует — и расходятся. Он затискивается в свой «гольф», а она дует в лабаз или же по своим иным девичьим делишкам. Так вот куда пиво! Мне тогда сразу полегчало...

И вот я сижу у окошка, поглядываю на улицу и неторопливо выдумываю себе трогательную историю о почившей супруге лысого папаши. А окна чаровницы — прямо напротив и этажом ниже... И тут мой взгляд падает на заграничный стакан

с трубой-подзоркой. Подглядывать нехорошо — это я выучил с детства. Но для того и писаны правила, чтобы не принимать их уж очень всерьёз...

Здесь начинается грустное. Пару дней я не видел ничего, кроме спорадически мелькающей там и сям по квартире девчухи. Наблюдать её, не будучи увиденным, было не менее зажигательно, чем дышать ей в затылок в очереди в кассу. Труба теперь не возвращалась в стакан, а лежала на подоконнике наизготовку.

И тут появился папашка. То есть он, конечно, уже не раз появлялся в моём окуляре. Но в такой ипостаси... Родитель вдруг обхватил мою девчонку, стянул с неё майку и принялся мять и тискать её груди... Я оставил трубу и протёр глаза. Потом взглянул ещё... Я хотел звонить в полицию!

Не знаю, как я уснул в эту ночь...

Наутро я снова встретил девчонку... и что же? ни следов борьбы, ни царапин... ни-че-го! С трудом кивнув, я проследовал за ней в торговую точку, сопровождая её незримо во всех её эскападах, и затем снова повёл к дому...

И тут появился этот! Опять обхватил, опять целовал... затем втиснулся в «гольф» и, наконец, отчалил.

Понятно, что я не выдержал. Выждав минут двадцать, я пересёк улицу и, наугад потыкав кнопки звонков на домофоне, добился, чтобы мне открыли. Крикнул дурным голосом: — Post!<sup>1</sup> — поднялся на заветный этаж, постучал в дверь.

Открыла она. Вскинула ресницы. — Brauchst du Hilfe?.. Komm rein!<sup>2</sup>

И, едва захлопнув дверь, обхватила меня, закружила, таща внутрь, вглубь, в одеяла, в расхлюстанную не ко времени постель. И да, верно, волосики над губой. Всё как я ожидал.

Мы снова стояли в дверях... Я, кажется, мигал. — Komm wieder<sup>3</sup>... — прошептала она и приложила палец к губам, указав на соседские двери. — Папка старый уже... Приходи! — Отче наш... — бормотал я, спускаясь по лестнице. — Иже еси на небесех...

Вот оно. Ностальгия ли это, парадигма ли — или, наоборот, некий левый дискурс... роли это большой не играет. Клаусу пускай достаётся Клаусово, а нам подай-таки квасу, да луку зелёного, да солянки сборной с каким-нибудь каперсом или чем там ещё... Суетно всё в европах, глупо и суетно. Дома надо жить! Дома.

1. Почта! (нем.)

2. Тебе чем-то помочь? Входи! (нем.)

3. Приходи ещё... (нем.)